

«Как собеседника на пир...». Эдуард Бабаев: судьба филолога

«Мы с тобой на кухне посидим...»

У Осипа Манделштама есть замечательное определение филологии — как университетского семинара, «где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада». Эти слова Э. Бабаев с явным удовольствием приводит в одной своей поздней — сугубо академической — статье. Действительно, в той области гуманитарного знания, которой посвятил свою жизнь Эдуард Григорьевич, не меньшую роль, чем ученые прения, играют заглядывающие в окно ветви деревьев. Природа здесь не отделима ни от истории, ни от литературы. Вот почему «пяти человекам» студентов (или сколько их там наберется) необходимо знать, что 12 марта 1801 года, то есть наутро после убийства императора Павла, «вышло солнце, с моря подул весенним ветром», а день коронации нового молодого царя в сентябре того же года «выдался на удивление солнечным и ярким»¹. Оратор, сообщающий аудитории эти полезные сведения, не только «владеет сюжетом». Он знает, что поэт в России больше, чем поэт. Но и ученый в России, толкующий о поэте, может быть, больше, чем ученый. Особенно если он соединяет в себе две эти ипостаси.

Э. Бабаеву выпал завидный жребий. Его упомянутая выше статья называется «Манделштам как текстологическая проблема». Речь в ней идет только о текстологии. Автор строго держится в научных рамках и не позволяет себе никаких лирических отступлений. Между тем об указанном предмете у него имелись собственные воспоминания — причем очень личного свойства.

...Летом 1942 года в Ташкенте пятнадцатилетний Эдик Бабаев и местный университетский профессор с достоинством беседуют о Пушкине и Данте. Собеседники располагаются на скамейке университетского сада (чьи деревья, надо полагать, «заглядывают в окно»). В кармане одного из беседующих, а именно у Бабаева, обычная школьная тетрадь с тщательно переписанным «Разговором о Данте», который еще очень и очень нескоро станет достоянием широкой российской публики. Высокий диалог прерывает облава, иначе говоря — рутинная проверка документов: за отсутствием таковых младший из беседующих препровождается в кутузку. Естественно, «вплоть до выяснения» конфискуется упомянутая тетрадь.

Нет, в манделштамовском «Разговоре о Данте» не было ничего крамольного, ничего такого, что могло бы, положим, вызвать подозрение государства, и без того

¹ Бабаев Э. Г. «Высокий мир аудиторий...» Лекции и статьи по истории русской литературы / Предисл. И. Л. Волгина.

изнемогающего в неравной борьбе. Но это был *самиздат* (термин еще не существовал, но смысл его был понятен). Сажали и не за такое, тем паче — в военное время. И лишь благодушие юного лейтенанта, принявшего содержание тетрадки за «умное» школьное сочинение («„Внеклассное“, — ответил я уклончиво»), избавило обладателя рукописи от возможных последствий.

Как видим, интерес к текстологии пробудился у Эдуарда Григорьевича Бабаева довольно рано.

В другую, обретенную им на Новый 1943 год тетрадь оливкового цвета Надежда Яковлевна Мандельштам (она вела литературный кружок в Ташкентском доме пионеров и преподавала английский) собственноручно вписывает ненапечатанные стихи своего бесследно сгинувшего в лагерях мужа. Ее уверенный почерк сменяется еще не устоявшимся почерком школьника («Фаэтонщик», все Воронежские тетради и т. д.). Десятилетия спустя эти листки (так называемый Ташкентский список) станут одним из самых авторитетных в мандельштамоведении источников. Погребенная в недрах стенного родительского шкафа тетрадь каким-то чудом уцелеет в ташкентском землетрясении 1966 года (ее подберут среди развалин), чтобы еще через несколько лет вернуться к владельцу. «Я привезла тебе большую тетрадь с детскими твоими стихами», — радостно сообщит Эдуарду Григорьевичу восьмилетняя дочь Лиза. И на недоуменный вопрос отца, что же именно там написано на первой странице, безмятежно произнесет: «Мы с тобой на кухне посидим...»

В «академической» текстологии подобное встречается крайне редко.

Впрочем, во всех этих переключках и совпадениях наличествует своя система. Ибо судьба как бы уготовила Бабаеву такую участь — с молодых ногтей быть *хранителем текста*. Причем не только допечатного, но и того, который давно составляет основной корпус отечественной классики.

Его отец и мать — родом из Нагорного Карабаха, из города Шуша, о котором тот же Мандельштам скажет:

Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведal эти страхи,
Соприродные душе.

О каких страхах толкует автор стихов об Армении? Не о той ли метафизической тревоге, которая во все времена сопровождает поэтов?

Но вернемся в военный Ташкент, где случались страхи и совершенно земные.

«Среди всех тревог и ужасов, которые окружали Надежду Яковлевну, — пишет Бабаев в своих воспоминаниях, — самой большой тревогой был «рукописный чемодан» под тахтой у двери. В нем хранилось все, что можно было унести с собой в эвакуацию, в скитания. Самая мысль о возможности исчезновения этого чемодана приводила ее в отчаяние». Вдова Мандельштама страшилась, что, если неотложка увезет ее в больницу (а болела она довольно часто), рукописи исчезнут. Она звонила Бабаеву, и просьбы ее «всегда были так пронзительны и неотразимы»², что он немедленно

² Бабаев Э. Г. Воспоминания. СПб.: Инапресс, 2000. С. 134. В дальнейшем цитируются с указанием страниц в тексте.

отправлялся к ней на Жуковскую и уносил доверенную ему *текстологию* к себе домой. Подросток, с «рукописным чемоданом» бредущий по ночным переулкам Ташкента, где отнюдь не экзотическая встреча с грабителем весьма вероятна, — без этого «архивного юноши» новейших времен история той литературы, которую он впоследствии будет преподавать, была бы неполной³.

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Между тех «всеблагих», собеседником которых окажется Бабаев, главное место занимает Анна Андреевна Ахматова. В жилище, где она обитала, в дом № 54 все по той же улице Жуковской, он будет являться неоднократно — обычно на пару со своим неизменным (как выяснилось, навсегда) другом Валентином Берестовым, который позднее сподобится стать известным детским писателем. За неразлучность друзей прозвали Аяксами, за природную веселость характеров — Бимом и Бомом. Прилежный переписчик «Поэмы без героя» — того ее ташкентского варианта, который, по его мнению, был лучше последующих авторских версий, — Эдуард Григорьевич позднее заметит: «Не могу утверждать, что тогда мне была ясна сама поэма. Но ветер, шевеливший листочки плюща за окном, казался мне ветром истории» (с. 8). Разумеется, шевелимые ветром листочки — того же происхождения, что и ветки деревьев университетского сада, заглядывающие в окно. Ветер истории имеет обыкновение шевелить именно их.

Армянский мальчик, генетически связанный с древней культурой и безоглядно влюбленный в российскую словесность, он мужает под звездами Средней Азии, на дальней окраине империи. И самая страшная из войн сводит его с теми, кого при иных условиях и обстоятельствах он никогда бы не смог увидеть, а тем паче войти в этот «назначенный круг».

Итак, школьник, которого все окружающие именуют не иначе как Эдик (что удивительно для его факультетских коллег, запомнивших поздний, «профессорский», облик), усердно переписывает вовсе не школьные (вернее, еще не успевшие стать таковыми) стихотворения. Кроме того, он избран самой знаменитой ташкентской жительницей в качестве провожатого («может быть, и потому, что я не донимал ее литературными разговорами») — Ахматова плохо ориентировалась в городском пространстве. Он многое запомнит из тех ташкентских прогулок и встреч (в частности, беседу Ахматовой с попавшимся на пути почтительно-вальжным А. Н. Толстым, «странную», неотмирную Ксению Некрасову, сильно продвинутого, как сейчас бы выразились, Мура, сына Марины Цветаевой⁴, и т. д.). Да, у него окажется отлич-

³ В 1959 году Н. Мандельштам, будучи проездом в Ташкенте, составила завещание, согласно которому все ее имущество, в том числе авторское право, отходило к Э. Бабаеву и его первой жене — как к людям, наиболее посвященным в судьбы мандельштамовского архива.

⁴ «...К часу встречаюсь с симпатичным Эдиком Бабаевым (он ко мне заходил раза три)...», «Вчера вечером читал Берестову и Бабаеву, пришедшим ко мне, несколько глав из книги Ромэна «Приятели» и довел их до упаду от смеха...» (Эфрон Г. С. Дневники. В 2 тт. Т. 2. М.: Вагриус, 2004. С. 233, 271).

ная память — и когда через много лет Ахматова посетует на безвозвратную утрату не записанного вовремя «De profundis...», Бабаев скромно прочтет указанное стихотворение вслух. (Нет сомнений, что он бы запомнил и «Реквием», если бы был *посвящен*.)

Конечно, Бабаеву повезло. В том смысле, что человек, с юных лет оказавшийся в подобной компании, был обречен. Он был бы обречен на служение музам (среди них Клио, которую он называл музой Ахматовой, играла не последнюю роль) даже в том случае, если бы его миновала высокая страсть «для звуков жизни не щадить». Но он был достигнут именно этой страстью. И потому почти как должное принимал фантастические повороты своей судьбы.

Он познакомился с Ахматовой совершенно случайно — его попросили отнести ей авторские экземпляры только что вышедшей книжки. В знакомстве с Надеждой Яковлевной элемент случайности, хотя и в меньшей степени, но тоже имеет место: она, как сказано, вела литкружок. С едущим в Москву Бабаевым она передает письмо для И. Эренбурга: волей-неволей приходится посетить мэтра. Одетого в шинель и обутого в сапоги посланца автор «Падения Парижа» приглашает к себе в кабинет. Не предлагая, впрочем, раздеться. Исполнив поручение, Бабаев читает свои стихи:

Где бы я тогда ни пропадал,
Эшелон тянулся над рекою,
Я не думал о себе, я спал,
Навалившись на кулак щекою.

«Пойдите, снимите шинель!» — говорит Эренбург (с. 121).
Талант — это тоже поручение.

«Гвардия роптала»

Обретавшийся в Ташкенте К. Чуковский (которому школьная учительница Бабаева показала переводы из Роберта Бернса и Эдгара По, выполненные прилежным учеником) наказывает Бабаеву передать в Москве В. Шкловскому фотокопию репинского портрета Виктора Борисовича из «Чукоккалы». Отважный провинциал не упускает возможности посетить одного из отцов-основателей формальной школы (которая, кстати, уже давно не в чести). Знаменитость тоже не прочь послушать стихи ташкентского гостя. (Что кроме подобной «визитки» может предъявить он при первом знакомстве?) Уходя, Бабаев сталкивается на пороге с вошедшей с мороза девушкой, несущей коньки. «Шаркните ножкой!» — говорит Виктор Борисович, представляя Бабаеву дочь.

Но, судя по всему, сам Шкловский производит на посетителя куда большее впечатление, нежели его домашние. Особенно его стиль, его «фирменная» манера письма. Я разумею те самые короткие, вынесенные в отдельный абзац предложения, которые Даниил Гранин — в терминах физики — именует квантами («квантовый стиль»), полагая, что подобные «спотыкания» отражают «барьерный бег» авторской

мысли. Это «рубленное письмо» характерно и для позднего Шкловского — в частности, для его «Энергии заблуждения», где он упомянет своего давнего посетителя:

«Здесь есть книга, изданная к 100-летию со дня выхода романа «Анна Каренина».

Это книга Э. Бабаева «Роман и время» <...>

Книга хорошая. Ссылок много, убежден, что все они проверены...»

Тут, конечно, можно уловить и некоторую скрытую иронию. Шкловский не был большим любителем цитирования («Мы ходим, как слепые, все время трогая стену цитаты...»), он предпочитал, так сказать, свободное парение эссеистской, не «строго литературоведческой» мысли. Бабаев, напротив, и в своих научных трудах, и в университетском курсе любил опереться на чужое — художественно или идейно авторитетное — слово. Цитаты у него, как правило, столь уместны, что становятся частью авторской речи. Они здесь вовсе не «стена», а, скорее, естественные точки опоры, путевые огни, по которым движется мысль. И вывод оказывается таким, что его, в свою очередь, хочется цитировать.

В стилистическом отношении Бабаев порой следует за Шкловским.

Возьмем наугад из бабаевских воспоминаний:

«Обычно с утра директор (Музея Л. Н. Толстого. — И. В.) читал газеты.

За чистым столом в своем уютном кабинете он читал «Правду».

Как тот швейцар у Толстого, который за стеклянными дверями читал газету «для назидания окружающим».

Чтение захватывало его целиком.

Он вздыхал, качал головой, иногда слышались какие-то восклицания. Захожу я однажды к нему в кабинет, а он весь в какой-то тревоге.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— В мире беспокойно! — завопил он с такой искренностью, что я даже удивился.

Это был настоящий, может быть, лучший из читателей „Правды“» (с. 227).

Подобное членение текста характерно и для университетских лекций Бабаева.

«У Александра I был еще один источник «сильнейшей грусти» — Михайловский замок, где жил и умер его отец — Государь император Павел I.

«Государь император Павел Петрович скончался скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12-е число», — объявил Александр I.

Но он знал, что это неправда.

Павел I был убит заговорщиками в ночь с 11 на 12 марта 1801 года в Михайловском замке. Он строил эту крепость как надежное убежище, а она оказалась для него западней.

Когда составилась среди придворных и в гвардии заговор против Павла I, все были недовольны его правлением. Дружба с Наполеоном и обсуждение плана совместной экспедиции в Индию с целью освободить ее от власти Англии вызывали озабоченность в России и в Европе.

Гвардия роптала».

Абзац задает ритм этой «ораторской» прозе — не столь жесткий, как у Шкловского, не столь рационально-напряженный, более пластичный. «Межабзацная» пауза здесь напоминает мхатовскую: она исполнена смысла.

У Бабаева фраза играет роль стихотворной строфы — отдельной, но при этом сохраняющей лирическую связь с целым.

«В ночь на 12 марта Александр не ложился спать.

В час ночи в покои Александра вошел фон Пален и сказал, что все кончено. Александр закрыл платком лицо и заплакал.

„Довольно ребячиться, — сказал фон Пален по-французски, — ступайте царствовать!“»

Можно представить, как впечатляюще это звучало с кафедры. Недаром все слушатели Эдуарда Григорьевича сходятся на том, что ему был присущ истинный артистизм.

Вернемся, однако, к зиме 1946 года, когда восемнадцатилетний Бабаев впервые посещает столицу.

Незабываемый 1946-й: с января по август

Зачем, собственно, он приехал в Москву?

Ахматова советовала ему поступить в университет. Чуковский — записаться в хорошую и большую библиотеку. В университетскую — ташкентскую — библиотеку он записался; с самим же университетом — пока не сложилось. Окончив школу для детей офицеров Туркестанского военного округа, Бабаев вместе с другими выпускниками был «передан» в военизированный институт инженеров железнодорожного транспорта. Несмотря на несомненные преимущества, которые сулила эта профессия, новоиспеченный студент тосковал. Это было «странное чувство ностальгии по будущему, которого не знал и представить себе не мог» (с. 109). Именно «странное чувство» заставило его всеми правдами и неправдами раздобыть пропуск во все еще режимную Москву (где после фронта лечился отец) и прямо с вокзала пешком отправиться в Университет на Моховой — разумеется, на филологический факультет.

Что мне юность насаждала
В этот вечер ветровой:
Как с Казанского вокзала
Шел пешком до Моховой,

Как я дверь открыл с поклоном,
Сняв ушанку с головы,
Как с попутным эшеленом
Добирался до Москвы.

Энтузиаст, наивно возжелавший в разгар учебного года поступить в храм наук, мягко говоря, вызывал удивление. К тому же стремительно истекал срок десятид-

невного московского пропуска. Рекомендательные письма — К. Чуковского академику В. Виноградову («Эдуард Бабаев — талантливый начинающий поэт. Мало я знаю людей, которые бы проявляли такую любовь к литературе и так знали ее»), а также В. Шкловского профессору Н. Гудзию («Эдуард Бабаев — поэт, и способный. Его послала ко мне Анна Ахматова»), — эта лестная для рекомендуемого лица эпистолярная никогда не будет востребована и останется (специалист бы выразился, *отложится*) в личном архиве Эдуарда Григорьевича⁵.

Однако московские знакомства этим не ограничились.

В Ташкенте на перроне отъезжающему вручили подстрочник — газели Алишера Навои, предназначенные для антологии узбекской поэзии. Бабаеву было вменено в обязанность доставить их переводчику — Борису Пастернаку. Добросовестный письмоносец, честно исполняющий возложенные на него комиссии, он сразу оказывается на вершинах.

Тут по некоторому, хотя и отдаленному, сходству приходит на ум другой русский путешественник — молодой Николай Михайлович Карамзин. Посещая Европу, он без особой застенчивости является к сильным (духовно сильным!) мира сего («Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъяснить мое почтение Канту») и вступает с ними в доверительные беседы. Правда, здесь есть и немалая разница. Эдуард Григорьевич не осмелился бы по собственной надобности беспокоить столь значительных лиц. Являясь к ним, он всегда выполняет чью-нибудь просьбу.

Судьба, впрочем, знает, что, кому и когда поручать.

Он ринется наугад — в незнакомое, но возвеличенное Пастернаком Переделкино, едва не заблудится в снежной замети (в последние свои годы он полюбит проводить летний отпуск в здешнем Доме творчества), но — увы — обнаружит заветную дачу свободной от обитателей. Пришлось отправиться в Лаврушинский переулок — в тот писательский дом, где, кстати, обретался и Шкловский.

О посещении Бориса Леонидовича рассказано Эдуардом Григорьевичем почтительно и подробно. На сей раз стихи предпочел прочесть сам хозяин дома. Зато гость был зван к вечернему чаю⁶.

⁵ Он все-таки посетит Гудзия и немало удивится тому, что прежде чем открыть дверь, в квартире будут долго передвигать мебель. Оказывается, он постучал с черного хода, которым много лет уже не пользовались. Возможно, в происшествии заключался намек — о сомнительности обходных путей. Впрочем, визит запомнится:

Он привел провинциала
В свой столичный кабинет.
За окном заря мерцала
И горел настольный свет.

Гудзий славный был филолог,
В кабинете у него
Кроме книг и книжных полок,
Нет как будто ничего.

Впрочем, есть еще картины,
Неизвестные холсты,
Эти жесткие седины,
Эти строгие черты.

⁶ 26 января 1946 года Пастернак напишет Н. Мандельштаму: «Спасибо за письмо. Был Ваш Эдик. Он мне очень понравился. Стремительный, самолюбивый. У него прервался голос, и он боролся со слезами, когда рассказывал об Ос. М. и Казарновском». Бабаев, судя по всему, был первый, кто поведал Пастернаку о предсмертных днях О. Мандельштама, свидетелем которых был поэт Ю. Казарновский, в последнюю военную зиму попавший в Ташкент прямо с Колымы. «Но, — добавляет Па-

На книге своих стихотворений Пастернак напишет: «Эдуарду Бабаеву на счастье в его первых шагах в Москве. 17 января 1946 года». Для одариваемого это действительно было счастьем.

Ему так и не удастся поступить в Московский университет. Он будет в нем преподавать. Путь к этому займет едва ли не четверть века и проляжет через геодезические партии («изучал историю с географией, видел старые крепости, ходил по руслу высохших рек»), занятия журналистикой, учительство... Прежде чем поступить на филфак — пусть не Московского, а Среднеазиатского университета, — пришлось один семестр проучиться на физико-математическом, где, как вспоминает Бабаев, ему было привито «глубочайшее уважение к точности и краткости в определении каждой мысли» (с. 332). Точность и краткость — атрибуты не только математического, но и поэтического сознания. Они, как думается, и сформировали у Эдуарда Григорьевича упомянутый выше «строфический» стиль.

Августовское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклад Жданова, где одним из главных фигурантов, подвергнутых остракизму, была автор «Поэмы без героя», — это партийное *urbi et orbi* звучало как заклинание, долженствующее оберечь нацию от нравственной порчи.

«И потянулись унылые проработки постановления повсюду — от университета до какой-нибудь обувной мастерской, — вспоминает Бабаев (говоря по-пушкински, «от финских хладных скал до пламенной Колхиды»). — Всюду было одно и то же: и в провинции, и в столице. Хулители искусств заседали за длинным столом президиума, накрытым красной скатертью, с канцелярским графином посередине. Строгие, раздражительные, в очках, косноязычные. Во всем этом было много прельщения, но не было никакого благообразия» (с. 123, 126).

«Прельщения» не избежал и он сам. В университетском комитете комсомола ему выписали путевку для чтения лекций на столь злободневную тему: не куда-нибудь, а в местный зоосад. (В обстановке тотального абсурда это выглядело даже логично.) Знакомство лектора с «полумонахиней-полублудницей» ни для кого не являлось секретом. Тем убедительней должны были бы выглядеть его обличения. «За счастье быть собеседником Анны Ахматовой, — замечает Бабаев, — надо было платить». Он подает прошение об увольнении из Университета: «Я шел по улице и плакал».

Это был момент истины (и момент выбора): возможность остаться порядочным человеком. Впрочем, никем иным Бабаеву быть не удавалось. Приходилось собственной судьбой опровергать открытый Михаилом Зощенко «закон подвижного человека»: в хорошие времена — он хороший человек, в плохие — плохой, в чудовищные — чудовище. В этом смысле Эдуард Григорьевич был малоподвижен.

стернак, — как он пишет, я еще не знаю, потому что это отложил» (Пастернак Б. Полн. собр. соч. с прил. В 11 тт. Т. IX. М.: Слово, 2005. С. 441).

«Он выйдет последним»

...Впервые я услышал об Эдуарде Бабаеве в начале 60-х. Мой одесский приятель, впоследствии известный диссидент, а тогда еще просто убежденный толстовец, автор дипломного сочинения о «неисчерпаемой глыбе» (как именовал создателя «Войны и мира» не шибко грамотный директор Музея Л. Н. Толстого, где в то время работал Эдуард Григорьевич) специально прибыл к нему в Москву для консультаций. Кажется, этот приятель нас и познакомил. Позже мы с Бабаевым оказались на одной кафедре факультета журналистики МГУ, где бок о бок прослужили долгие двадцать лет.

Эдуард Григорьевич был закрытым человеком. Он избегал душевных излияний и мало кого впускал в свой внутренний мир. При этом тонко понимал шутку, был ироничен, радовался удачному *mot*. Прошлое, где обретались великие тени, оставалось его нравственным капиталом — и он отнюдь не был склонен растрачивать его по пустякам. Подробности ташкентской жизни — то есть то, что представляло для меня чрезвычайный интерес, — я узнал главным образом из его посмертных воспоминаний. Остается лишь пожалеть, что беседы наши были достаточно скоротечны и что мне не удалось заслужить той степени близости, которая позволила бы взять на себя почтенную роль мемуариста.

В памяти осталось не главное: похожие одно на другое заседания кафедры, защиты дипломов, обсуждения диссертаций... Эдуард Григорьевич был мягок, доброжелателен, ровен, говорил скупно и негромко. Публичное собеседование требовало от него известных усилий. Он приставлял ладонь к единственному слышащему уху и направлял его в сторону оратора. Он не любил спорить, во всяком случае, прилюдно⁷. (Не без сочувствия приводятся им нравившиеся Толстому слова Ювенала о спорщиках, похожих на двух странных мастеровых, своими молотками заколачивающих гвоздь, который собираются вытащить.) Если кто-нибудь из выступавших был ему неприятен (а такое случалось), он молча вставал и покидал заседание.

Не помню, кто-то сказал, что интеллигента должно быть мало. К Эдуарду Григорьевичу это относится в полной мере.

Однажды жена и малолетняя дочь встречали его на вокзале. Вагон пустел, люди выходили, а Бабаева все не было. Дочь с отчаяния заревела. «Не плачь, — успокоила ее мать, — он выйдет последним. Пропустит всех и выйдет».

Этот эпизод приводит в своих (на мой взгляд, замечательных) воспоминаниях его бывший студент, писатель Александр Терехов⁸. Герой воспоминаний, который всю жизнь толковал о русской литературе, ныне оказался запечатленным в жесткой и честной прозе.

Но и сам Бабаев сотворил собственный образ. Причем не только в лирических стихах, что, в общем, естественно для поэта, но и в академических штудиях. В них тоже присутствует личность повествователя — несуетного, корректного, заботящего-

⁷ Высоко ценя слово запечатленное, Э. Г. предпочитал посылать писателям письменные отзывы об их статьях или книгах. Было бы интересно собрать эту эпистолярную.

⁸ Терехов А. Бабаев. Воспоминания бывшего студента Московского университета // Знамя. 2003. № 1. С. 105.

ся не об авторском самовыражении как главной цели письма, а об установлении истины.

Говоря о филологической науке, Бабаев настаивает на необходимости четких границ и пределов. Он полагает, что «введение ограничительных терминов — проявление добра в самосознании истории литературы». Это скорее относится к инструментарию, к чистоте эксперимента, к попытке оградить слово от навязываемых ему невербальных обстоятельств. Тем более художественное слово, не равное самому себе. И приведя стихи — «Ангел благого молчания! / Душу от слов охрани!», — Бабаев добавляет: «Кто бы мог подумать, что от Брюсова может исходить эта благочестивая молитва истории литературы как филологической науки!» С другой стороны, необходимо блюсти полноту литературного пространства, дабы не затерялся ни один значимый персонаж, то есть, говоря словами Л. Толстого, «стараться не лгать, отрицательно умалчивая». Это видимое противоречие — между метафизическим молчанием и необходимостью поименовать всех — снимается тем, что филология существует в двух ипостасях. «Филологическая наука как проза, — замечает Бабаев, — признает первородство филологической науки как поэзии»⁹. Такое признание обусловлено самой природой того, с чем филолог имеет дело. «Трагедия пишущего о стихах, — говорит Евгений Винокуров, — состоит в том, что он не может говорить об алмазе, не превратив его сначала в уголь, — и все, что он говорит, относится, в сущности, к углю, хотя пишущий и подразумевает в своих рассуждениях алмаз»¹⁰.

Предпочитая «алмаз», Эдуард Григорьевич неизменно ставил зачет тому из студентов, кто брался прочесть наизусть хотя бы несколько стихотворных строк. Он полагал, что уже одно это знание свидетельствует в пользу чтеца.

Касаясь в своих работах того или иного писателя, Бабаев как бы длит те беседы, которые некогда начались под цветущими платанами Ташкента. Круг беседующих расширяется — к разговору подключаются Достоевский, Гоголь, Белинский и, конечно, Толстой. Не остаются в стороне и их позднейшие интерпретаторы — А. Веселовский, А. Потебня, Ф. Буслаев, С. Аверинцев... То есть в диалог естественным образом втягивается «вся литература», которая для Бабаева не столько предмет изучения, сколько способ существования и образ жизни. Трудно представить Эдуарда Григорьевича, занимающегося каким-то иным делом.

В его книгах и статьях присутствует то, что физиолог А. Ухтомский называл «доминантой на лица других»: способность «видеть равноценное с собою бытие в мире и в своем соседе»¹¹. Автор не выпячивает свою творческую индивидуальность («интеллигента должно быть мало!»), не тянет одеяло на себя, не перебивает собеседни-

⁹ Бабаев Э. Г. «Высокий мир аудиторий...» С. 212, 219, 224.

¹⁰ Кстати, Э. Г. долгие годы дружил с Евгением Винокуровым, который ценил его как образованного и умного собеседника. Потом у них произошла размолвка. Винокуров (который в свое время наряду с Павлом Антокольским дал мне рекомендацию в Союз писателей и с которым я был довольно близок) горько сетовал на Бабаева, не очень внятно излагая при этом причину своего недовольства. Что касается Э. Г., то он лишь грустно улыбался и разводил руками. Он любил Винокурова. В книге А. Терехова я нашел «версию Бабаева» о причинах ссоры. (Собственно, о том же рассказывал мне и сам Винокуров — правда, с обвинительными акцентами.) «Вам (то есть Бабаеву. — И. В.) надо написать монографию про меня, на пятьдесят печатных листов. Чтоб в ней были мои детские фотографии... Вам ведь нужны деньги. Договор уже готов, осталось подписать». Очевидно, это посягательство на его авторскую свободу, а кроме того, почти неизбежный для большого поэта эгоцентризм и обидели потенциального биографа. Он отверг предложение. Бабаев ненадолго пережил Винокурова (ум. 1993). Кажется, в последние годы они вновь сошлись.

¹¹ Цит. по: Меркулов В. Л. О влиянии Ф. М. Достоевского на творческие искания А. А. Ухтомского // Вопросы философии. 1971. № 11.

ков и тем паче не навязывает им своего просвещенного мнения. Напротив, он внимательнейшим образом вслушивается в речь каждого из них, сопровождая ее «стимулирующими» репликами. Может быть, то потрясение, которое овладело им однажды в молодости, когда, увидев вспышки молнии, он не услышал раскатов грома (что было признаком надвигавшейся глухоты), обострило его внутренний слух и избавило от восприятия «эфирного шума». Он не склонен поражать воображение дерзкими гипотезами, завлекать читателя интригующими намеками, предлагать новые концепции и прочтения (хотя, как мы убедимся ниже, иные прочтения уточнялись). Он никогда не демонстрирует эрудицию как таковую (то есть как отделенную от мысли «голую» принадлежность ума) — она естественно входит в состав его рассуждений. Его авторская позиция заключена в интонации, стиле, обертонах речи.

Мне легко представить Эдуарда Григорьевича, мирно беседующего с Львом Николаевичем Толстым — как, скажем, беседовал с ним «тихий» Николай Николаевич Страхов. Думается, героям Бабаева было бы *комфортно* с ним (в данном случае употребим это «гламурное» слово для обозначения душевной приязни). Как комфортно читателям, которые благодарны автору не только за свое приобщение к высокому кругу, но и за то, что они не чувствуют себя в нем ни обделенными, ни чужими.

Э. Бабаев — истый гуманитарий, честный посредник, предлагающий свои профессиональные услуги при знакомстве с литературой. Как опытный сводник, он подталкивает человека к прекрасному. Он соединяет друг с другом писателей, не ведавших о своем родстве. Он не популяризатор классики и даже не интерпретатор ее. Он — ее доверенное лицо.

«Кто я такой, чтоб говорить о Наталье Николаевне?»

«Надпись на портрете («Победителю-ученику от побежденного учителя». — И. В.), сделанная Жуковским, — замечает Бабаев, — принадлежит к числу классических произведений, вышедших из-под его пера <...> Побежденный? Нет... Побежденные так не пишут. Столько здесь веселой энергии и великодушной силы в каждом слове»¹². Пожалуй, автор «Руслана и Людмилы» не стал бы возражать против подобной трактовки. Как, впрочем, и автор «Светланы».

Вообще, толкуя о Пушкине, Бабаев позволяет себе отдаться чувству, которое, существуя в нашей гуманитарной традиции, выражает вместе с тем общую национальную потребность — любить. «Он и сам тогда был юношей и „странником“, „странником поневоле“», — пишет Бабаев об авторе «Цыган», подразумевая, быть может, провиденциальный характер его скитальчества. (Здесь, пожалуй, уместно перефразировать известную апофегму Ахматовой — «*кудрявому* делают биографию».) И по ходу своих размышлений о «пушкинских страницах» Ахматовой замечает: «Как-то я сказал Анне Андреевне: «Если бы Блок не назвал свое стихотворение «Есть в напевах твоих сокровенных...» — «К Музе», стали бы искать «утаенную» любовь и нашли бы женщину...» — «И даже не одну!» — ответила Анна Андреевна». Не менее любопытна приводимая Бабаевым другая сентенция (кстати, перекликающаяся с отноше-

¹² Бабаев Э. К портрету Жуковского // Юность. 1983. № 2. С. 84

ем к Фрейду В. Набокова): «У Эдипа не было эдипова комплекса! — восклицала Анна Андреевна. — Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть Софокла...» (с. 50, 51).

Счастливым и редким случаем, когда исследователь, говоря о герое, может включить в процесс исследования собственные воспоминания. Ученый сам становится очевидцем — и его личные свидетельства обретают статус первоисточника¹³. В этом отношении весьма интересно указание Бабаева, что из всей обширной литературы о Пушкине Ахматовой были близки «Последние дни» М. Булгакова — пьеса, где главный герой на сцене отсутствует (что наводит на мысль о возможной переключке булгаковской пьесы и названия ахматовской «Поэмы без героя»). Такое отсутствие — проявление, если угодно, высокого профессионального такта. Ахматова чувствовала тот эстетический риск, который возникает, когда в художественном произведении появляется персонаж, уже воспроизведший себя в искусстве. Она небезобидно шутила, что следовало бы привлекать к уголовной ответственности лиц, которые вкладывают в знаменитые уста якобы изреченные теми максимы¹⁴.

Бабаев помнит эти методологические заветы. Поэтому он крайне осторожен. То, что в его мемуарной (и одновременно литературоведческой) прозе произносит Ахматова, прямо или косвенно подтверждается иными источниками и вполне согласуется с ценностными дефинициями героини. Можно понять, почему автор «Александрины», не боявшаяся касаться интимных сторон пушкинской жизни, относит себя «к тем пушкинистам, которые считают, что тема семейной трагедии Пушкина не должна обсуждаться». Не та ли струна позднее отзовется у Бабаева: «Жаль, что приходится касаться биографий. Кто я такой, чтоб говорить о Наталье Николаевне?»¹⁵

Это историческое целомудрие совсем не похоже на то, что французы насмешливо называют *pruderie* (преувеличенная стыдливость, показная добродетель).

Иногда, чтобы лучше рассмотреть героя, полезно несколько отдалиться от него. Но при этом пристальнее взглянуть в то, что его окружает. В статье Эдуарда Григорьевича «Что пишут свежие газеты пушкинских времен (1799–1810)» практически нет самого поэта. Зато тщательнейшим образом воссоздана атмосфера тех лет, когда юный Пушкин обретался в первопрестольной. Иностранские известия, новости политические, репортажи о военных победах, сообщения о въезде государя в Москву, объявления о полетах на воздушном шаре, погода, наконец, и т. д. — всем этим наполнен воздух, которым дышит «смуглый отрок» задолго до того, как будет бродить по царскосельским аллеям.

¹³ Так, выдержки из воспоминаний Э. Бабаева — разумеется, с отрицательным знаком — приводятся в «разоблачительной» книге Т. Катаевой «Анти-Ахматова».

¹⁴ Даже подлинная цитата, употребленная в качестве прямой речи в художественном тексте, может выглядеть фальшиво. Ср.: «Когда Лев Николаевич Толстой в беллетристическом сочинении начинает изъясняться пространными цитатами из своих статей, дневников и записных книжек, трудно поверить хотя бы одному его слову. И это несмотря на безусловную подлинность текста. Ибо простая *раскадровка* документа на картинки, сцены и диалоги еще не гарантирует верность исторического звука. Тынянов, великолепно владевший источниками, «выдумывал» прямую речь, но она была конгениальна эпохе» (Волгин И. Л. Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. М.: Грантъ, 2004. С. 564). Действительно, сколь бы смешно звучало, когда бы, например, выведенный на сцену Пушкин *устно* обращался к жене с цитатой из собственного письма: «Видишь ли, Натали, чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом». Или Толстой — по поводу кровавых злодейств: «Знаешь, Соня, не могу молчать!»

¹⁵ Цит. по: Терехов А. Указ. соч. С. 68.

Конечно, это не просто «отклики прессы».

Излагая газетные слухи о предстоящей коронации Наполеона и затем вести об уже свершившемся акте, Бабаев замечает: «Все эти события давались в газетах без особенных комментариев, но с той холодностью, в которой чувствуется пренебрежение к «разбойнику», захватившему чужой трон и надевающему на свою голову чужую корону»¹⁶. «Нетерпеливый герой» властвует над умами: историк литературы обязан знать, как именно это происходило.

Иными словами, историку литературы необходим так называемый внелитературный контекст. Чем масштабнее изучаемый писатель, тем больший круг имен и реалий попадает в этот охват. Когда же речь заходит о таких художниках, как Л. Толстой, граница познания удаляется от познающего подобно линии горизонта¹⁷.

Своему излюбленному герою Бабаев, естественно, посвящает главные труды. Не говорю здесь о его монографиях, но даже в отдельных статьях, где он касается, как кажется, не самых важных сторон безмерного толстовского мира, он делает это самым тщательным образом и прочно связывает на первый взгляд проходные сюжеты с определяющим вектором толстовской жизни и судьбы.

Бабаев писал не только о великих романах. Он едва ли не первым вспомнил о полузабытой толстовской «Азбуке», по которой учились грамоте тысячи русских детей (в том числе маленькая Аня Горенко, будущая Анна Ахматова) и которую сам ее автор ставил выше «Войны и мира». Бабаев склонен простить Толстому это невольное заблуждение.

«Своеобразие Льва Толстого как великого художника и мыслителя, — пишет Бабаев, — заключается в том, что всякий раз, когда мы хотим взять его «как итог», он оказывается проблемой»¹⁸. Добавим: в данном случае — личной. Очевидно, есть глубокий смысл в том, что такой сдержанный, уравновешенный, не любящий крайностей ученый захвачен Толстым, его стихийным, «не приведенным в порядок» характером, что он хранит верность одному из самых противоречивых, «неудобных», не вписывающихся ни в какие координаты возмутителей мирового спокойствия. Сближение с Толстым (неважно, по сходству или контрасту) — это всегда соприкосновение с «последними вопросами» — жизни, религии, искусства. Но это — экзистенциальное поле Бабаева: как поэта, исследователя и частного лица. Он сам — сокровенный человек, которому, впрочем, ничто человеческое не чуждо. Не чуждо ему и «слишком человеческое». В Толстом всего этого — в избытке.

«Простота описаний удивительная!»¹⁹ — восклицает Бабаев, приведя две фразы из «Холстомера». Читательский восторг нимало не мешает ему дотошно и педантично (по наборной рукописи!) сверить текст повести с той версией, которая «по статусу» должна считаться непререкаемой, — с 90-томным (юбилейным) собранием сочинений. И что же? В статье под незатейливым названием «Из наблюдений текстолога» автор приводит несколько примеров обнаруженных им текстологических ошибок

¹⁶ Бабаев Э. Г. Что пишут свежие газеты пушкинских времен (1799–1810) / Публ. Е. Бабаевой // Вопросы литературы. 1999. № 2. С. 138.

¹⁷ У Э. Г. есть запись: «Наука растет как шар. Чем больше радиус, тем обширнее поверхность соприкосновения с неизвестным» (Бабаев Э. Г. Воспоминания. С. 231).

¹⁸ Бабаев Э. Г. Лев Толстой: итог или проблема? // Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе кон. XVIII — нач. XX в. М.: Наследие, 1992. С. 47–48.

¹⁹ Бабаев Э. Г. Возвращение слова // Русская речь. 1986. № 5. С. 24.

(«молодчик» вместо «мальчик», «плохих» вместо «тихий», «долго» вместо «дома», «больным» вместо «большим» и т. д.) — эти погрешности существенно искажали смысл толстовского повествования.

Бабаев записывает в дневнике (февраль 1991 года):

«20.II. Среда. Не выходил из дома. Читал, поправлял и сверял с источниками текст статьи «Лев Толстой: итог или проблема?» для сборника «Связь времен» <...>

21.II. Четверг. Утром был в музее Л. Н. Толстого. Сверял рукопись с первоисточниками. Три перепечатки на машинке сильно расшатали текст <...>

8.IV. Понедельник. Передал в университетское издательство вторую часть моей рукописи. Там было одно затруднение, которое разрешилось простейшим образом. Пропала цитата! Все есть: и год издания, и номер журнала, и страница. А цитаты нет... Оказалось, что у журнала две (и даже три) пагинации. Сверка рукописи с источниками — вот, казалось бы, работа для редактора (в ножки поклониться). Но редакторы заняты другими, как им кажется, более важными, делами» (с. 233, 237).

Для автора дневника нет дела более важного. И эта научная честность, скрупулезность, чувство ответственности *за слово и перед словом* — фундаментальная черта его характера и таланта.

Что ж, пора сказать о талантах.

Человек, присевший к столу

Эдуард Григорьевич был хорошим ученым и — что совпадает нечасто — настоящим поэтом. (Впервые слушающий его А. Терехов: «Я сейчас решил: он поэт. И поэтому неважно, как писал»²⁰.) Но если в научной среде его заслуги, в общем, не подвергались сомнению, то в поэтическом цехе (я имею в виду не метафизическую — и в этом смысле неконтролируемую — реальность, а существовавшую литературную иерархию) он пребывал далеко не на первых ролях. Приводимый А. Тереховым барственно-хамский ответ начальника из «Литературной газеты» (при попытке поместить там некролог) — «я не знаю такого писателя» — вполне адекватен «официальному» представлению о так называемом «литературном процессе». Но и сам Бабаев в этом смысле никак не «позиционировал» себя. Вспомним слова его жены, что из вагона он выйдет последним.

Между тем у Бабаева-поэта был собственный, пусть и негромкий, голос. (Но где и когда громкостью определялась мера таланта?) Стихи были для него душевной потребностью и глубоко личным делом. Он и в поэзии оставался честным профессионалом. И, конечно, те строки, которые запомнились многим, уже никуда не денутся из русской поэзии:

Всего-то надо записать два слова,
Присел к столу, глядишь — и жизнь прошла...

²⁰ Терехов А. Указ. соч. С. 65.

Возможно, это отдаленная переключка с пушкинским «предполагаем жить, и глядь — как раз умрем». Ибо в поэзии — и с этим не стал бы спорить Бабаев — все аукается и переключается друг с другом.

Ощущение времени — чувство в значительной мере поэтическое. Недаром, касаясь «Былого и дум», Бабаев настаивает на том, что их автор «был в большей степени поэтом и художником, чем это казалось многим его современникам», и что герценовские «поразительные афоризмы, метафоры, сентенции, «холодные наблюдения ума» и «горестные заметы сердца» представляют собой настоящие философские стихотворения в прозе»²¹. Здесь у Бабаева не столько строгий аналитический прищур, сколько нота литературной симпатии. Ему близок сам жанр — жанр свободной лирической эссеистики. Обращаясь к опыту Герцена, он отстаивает право пишущего (в данном случае исследователя) писать так, «как он слышит, не стараясь угодить».

Не секрет, что к подобной манере многие коллеги-гуманитарии относятся с некоторым ученым высокомерием, полагая, что научные истины могут быть добыты и изложены не иначе как в диссертационном ключе. Такое отношение огорчало Бабаева, отлично владевшего пером и вопреки мнению тех, кто владеет им значительно хуже, не считавшего это помехой для серьезного научного творчества.

Но *славу* — впрочем, весьма относительную, не выходящую за университетские стены, — принесет ему устный жанр.

О Бабаеве-лекторе вспоминают больше всего. (А. Терехов: «Черный костюм, очки, осторожные движения выздоравливающего, глуховат, седеющие усы, седые волосы, отступающие с головы, голос — хриловатый, задыхающийся, актерский»²².) «Сходить на Бабаева» — это знак качества, помета, что не зря посещал Университет. И восхождение на кафедру, и нисхождение с нее («когда, прерванный звонком, он неловко машет рукой и бормочет: «Ну, прощайте, прощайте»...») — все это сохранилось в недолгой и весьма избирательной памяти его бывших студентов. Переполненная до отказа аудитория (зрелище, крайне редкое в наши дни), неизменная палка (проницательно квалифицируемая воспоминателями как *трость* или *посох*) и аплодисменты в конце — внешние приметы того волшебства, которое по сути своей однократно и, как каждый отдельный театральный спектакль, увы, невоспроизводимо. Как невоспроизводим «секрет» таких университетских ораторов, как Т. Грановский, В. Ключевский, Н. Грот...

Лекции Бабаева — это, конечно, не сумма тех или иных «аргументов и фактов», а живой образ минувшего времени — очеловеченного, «опейзаженного», явленного в лицах. Слушатели должны не только слышать, но и — видеть.

«27 июня Александр I встретился с Наполеоном в Тильзите.

Посреди Немана был установлен на якоре большой плот с раскинутыми на нем палатками. Здесь и состоялось подписание мирного договора между Францией и Россией.

Оба императора, которые были привезены на плот в царственных барках с противоположных берегов реки, не уступали друг другу в любезностях.

²¹ Бабаев Э. Г. Художественный мир А. И. Герцена. Лекции по истории русской литературы XIX в. М.: Изд. МГУ, 1981. С. 66, 67.

²² Терехов А. Указ. соч. С. 65.

Наполеон встретил императора Александра при выходе его из барки. Он приехал несколько ранее.

Зато Александр, как этого требовал этикет, проводил Наполеона до барки, на которой он приехал. И покинул плот несколько позднее.

„Французы ликовали! — пишет Денис Давыдов, вспоминая те дни. — Музыканты сочиняли и играли марши и танцы разного рода в честь достопамятного свидания, в честь дружбы двух великих монархов и прочее“».

Что это, если не литературный текст? Расчлененный, как и письменные сочинения Эдуарда Григорьевича, на фонетические и смысловые периоды, выстроенный по законам исторической прозы, он уже одной своей необычностью должен был заставить встрепенуться тугое студенческое ухо. Подобный слог *слишком хорош* для устной профессорской речи (вряд ли аудитория способна была оценить такие, например, выражения, как «приступы сервильной горячки»). Но сокрытый в «образе речи» художественный подтекст способен включить воображение слушателя.

«Александр был встревоженный царь тревожного царствования. Во всех событиях, и в *ребяческих мечтаниях*», и в государственных деяниях, чувствуется личность Александра, его характер, душа и образ мысли.

«Он человек!» — говорил Пушкин, повторяя слова Карамзина. И это лучшее, что можно было о нем сказать».

Лектор не дает здесь ссылки на источник: он надеется на память и интеллект слушателей. Продолжим, однако, цитату:

Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей.

Пушкин поистине царским жестом («манием руки») отпускает императору Александру его предполагаемые вины. При этом в реестре императорских заслуг взятие Парижа — событие всемирно-историческое — легко приравнивается к основанию довольно скромного учебного заведения. Ничего этого Бабаев не произносит, но, может быть, имеет в виду. Сопоставим с предыдущим другой приводимый им сюжет — из Батюшкова: «Аббат В. говорит, что он легче может себе представить, что русские взяли Париж, чем поверить в то, что у них есть или когда-нибудь будет великая литература».

Лицей основан, Париж взят, возникла великая литература — Бабаев напрямую это не сопрягает. Но в контексте лекционного курса эти события оказываются в тесном родстве.

Правы те слушатели Бабаева, которые утверждают, что бесполезно было за ним записывать, а тем паче — запоминать написанное²³. Да, пожалуй, и цели такой у лектора не было. Для него было важно передать *звук* исторического события. В свою

²³ Э. Г. говорил, что студенты записывают только то, что им знакомо. Как практикующий лектор с немалым стажем, я мог бы подтвердить это грустное наблюдение. Особенно рьяно фиксируются — часто с ошибками — имена и даты, которые можно легко найти в любом учебнике. Что касается *мыслей*, они привлекают куда меньшее внимание — как нечто маргинальное по отношению к мейнстриму бесспорных и твердо установленных фактов.

очередь, как уже говорилось, он ждал от экзаменуемого знания стихов. Сего было довольно.

Что же было главным в моноспектаклях Бабаева? Литература? История? Смысл слов? Нет: разумеется, сам Бабаев. Именно он сам был интересен, поучителен, ждан. Он являл собой на кафедре образ человека, не излагающего словесность, а публично, у всех на виду, проживающего ее. Он был составной частью того, к чему тщился приобщить своих слушателей. Сквозь его слабый физический облик просвечивали вечные лики Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого... И в сознание юных неопитов эти персонажи входили вместе с Бабаевым, говорили его голосом и болели его болью. Можно сказать, что своим реальным присутствием Бабаев как бы лично свидетельствовал, что русская литература не только «предмет», но что она действительно существует²⁴.

Однажды в откровенную минуту он сказал мне: «Лекцию надо читать так, как если бы был уверен, что между слушателями сидит Сократ». Сократов среди студентов обнаруживалось не так уж много. Но лучшие пытались-таки вдохнуть этот «воздух мысли», смутно догадываясь о необходимости Бабаева не только «для души», но и для своей профессиональной карьеры. Недаром Александр Терехов (который, согласно дневниковому пророчеству Бабаева, должен вырасти «в какую-то замечательную литературную силу») сопровождает учителя от Университета до дома — по темным и льдистым арбатским переулкам. Повесть о Бабаеве еще не написана, но жизнь героя уже подходит к концу.

«Неужели я настоящий...»

...Эдуард Григорьевич пришел в Московский университет сравнительно поздно — когда ему было уже за сорок. У него есть стихотворение, которое так и называется — «МГУ».

Покажутся наброском смелым
Верхи деревьев и дома.
Посмотришь в окна между делом,
А на дворе уже зима.

Как будто больше стало света,
Метель умерила разбег.
И с лестниц университета
Счищают падающий снег.

Из глубины родных историй
Правдивый вырастет рассказ.

²⁴ По некоторым свидетельствам, Э. Г. каждый год сжигал свои старые лекции (в костре на даче, вороша их палочкой, чтоб лучше горели) и писал новые. Если это соответствует истине хотя бы частично, то все равно поражает. Очевидно, именно так реализовывалось сокрытое в нем творческое начало, так преодолевались почти неизбежные лекционные штампы и получало выход вечное недовольство собой.

Высокий мир аудиторий,
Он выше каждого из нас.

Лишь веток мерное качанье,
И снегом занесенный след.
И после лекции молчанье
Отрадней дружеских бесед.

А там Москва за снегопадом,
Ее кремлевская стена...
И молча мы стояли рядом
У незамерзшего окна.

Картина довольно идиллическая — «очищенная» как падающим снегом, так и тем чувством, которое автор испытывает к предмету своей юношеской мечты. В обыденной, «непоэтической» жизни все обстояло сложнее. Любовь студентов, признательная и бескорыстная (кстати, Эдуард Григорьевич слыл одним из самых незлобивых экзаменаторов факультета), конечно, не могла не греть душу. Но любовь эта была эфемерна и преходяща — длиною, как правило, в два семестра, пока читался курс. Что же касается коллег, с запоздалой горечью надо признать: далеко не все из нас относились к нему так, как он этого заслуживал. И совсем немногие могли по достоинству его оценить. Его упорно пытались подогнать под общую среднеуниверситетскую гребенку. Лаборантка, заискивающая перед «шестерками» из парткома, откровенно хамила ему: она знала, что не получит отпора. Лишь однажды Эдуард Григорьевич не выдержал, вышел из себя, застучал палкой («За внешней сдержанностью, — говорит его жена, — бешеный темперамент. Копится, копится, а потом — взрыв»); в результате — инфаркт.

Его ученые труды, всегда глубокие и добросовестные, не вызывали особого шума; его поэтические сборники проходили совершенно незамеченными. Первый вариант докторской диссертации, к сочинению которой его усиленно склоняли (будучи человеком творческим, он не очень-то к этому и стремился), был написан наскоро и довольно небрежно («чтобы отделаться»): уровень оказался заметно ниже его лекций, статей и книг. Я позволил себе на обсуждении высказать несколько замечаний. Кажется, Эдуарда Григорьевича это обидело. Он мог почесть мою критику нарушением нашего негласного духовного союза.

Думаю, лекции высасывали из него немалую толику творческой силы. Да и физической тоже²⁵. Приняв экзамен, он спал много часов подряд — как после изнурительного труда. «С годами, — говорил он, — я все больше устаю. Весь материал знакомый, а напряжение ничуть не проходит. Каждый раз выхожу из аудитории в мокрой рубашке».

²⁵ Знаю по опыту: отчитав пару, чувствуешь себя абсолютно пустым. Древнее изречение «Из пророка, познавшего женщину, семьдесят семь дней не говорит Бог» справедливо, пожалуй, и по отношению к оппозиции «лектор — аудитория» — с соответствующими оговорками, разумеется.

...Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

После инфаркта врачи рекомендовали ему оставить педагогику. Он безропотно согласился — и читал лекции до своего последнего дня. Бог послал ему легкую смерть: он умер 11 марта 1995 года — забывшись с приемником на груди, из которого гремел жизнеутверждающий рок.

Его дневниковые записи зимы-весны 1991-го, последнего советского года, зафиксировали конец уходящей эпохи. Сумрачная, неприбранная, похожая на осажденный город Москва, пустые прилавки, демагогия уличных «бесов», предчувствие недобрых времен... Бабаев скуп на эмоции — он «всего лишь» хроникер. Но читая дневник (где характер автора отразился с замечательной полнотой), хочется молвить: Хронист.

«19.II. Вторник. Похолодало. С порывами ветра поднимается метель от сугробов. Читал на факультете лекцию по расписанию — «И. А. Крылов и проблема русского литературного языка в начале XIX века». Слушателей мало. Выдали целый килограмм перловой крупы <...>

22.II. В пушкинской редакции издательства «Книга». Рукопись очерков «Что пишут свежие газеты пушкинских времен» <...> отложена и чуть ли не забыта. Не до того... Сомневаются не только в издании той или иной книги, но и в самом существовании издательства. Пустые коридоры без окон, много дверей открытых²⁶ <...>

11.III. Понедельник. Ездил на Воробьевы горы, где когда-то, в середине 1950-х годов, так меня поразили образ тихой северной весны. Москва неузнаваема. Черты блокадного быта. Пророки, краснобаи, провокаторы. Демонстрации и митинги могут быть репетицией гражданских столкновений и погромов (как у нас уже бывало), но могут быть прогулкой, моционом для нетерпеливцев (как это часто водится в европейских странах).

12.III. Читал лекцию на факультете — «Судьба А. С. Пушкина, или Последствия одного неисполненного обещания». На улице сыро, холодно, промозглая изморось. Шел домой через Кисловский, по Собиновскому переулку. Пробирался по льду и лужам консерваторскими задами. Двери и окна плотно закрыты. Ниоткуда не слышно музыки» (с. 233—235).

«Ниоткуда не слышно музыки» — это напоминает то, что чувствовал автор «Двенадцати», онемевший потому, что «музыка прекратилась». Бабаев делает свое дело: читает лекции, правит корректуры, сверяет цитаты, пишет дневник. Кажется, он не спешит вписаться в новое время, которое, как он, очевидно, догадывается, не будет одушевлено высоким и чистым звуком. Его больное сердце дает перебои.

Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

²⁶ Хорошо помню описанное — как раз в это время в упомянутом издательстве в серии «Писатели о писателях» готовилась к печати моя книга «Родиться в России». Она успела выйти, но на ней «закрылась» серия, существовавшая не один год. Что касается очерка Бабаева, он был напечатан уже после смерти автора (Вопросы литературы. 1999. № 2).

Он прожил честную, достойную, благородную жизнь. Он сумел остаться самим собой. Ему удалось то, что удастся немногим: «ни единой долькой» не отступить от лица. И это лицо — деда-мастерового из Нагорного Карабаха (может быть, не уступавшего в мудрости насельникам Эчмиадзина) и прирожденного русского интеллигента — уже неотделимо от той России духа, которую мы потеряли и которую, хотелось бы верить, когда-нибудь обретем.